

Большая
проза
**Василий
Аксёнов**

ВАСИЛИЙ АКСЕ НОВ

Московская сага

Книга 2. Война и тюрьма



Москва
2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
А42

Оформление серии *А. Саукова*

Аксёнов, Василий Павлович.

А42 **Московская сага. Книга 2. Война и тюрьма / Василий Аксёнов. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 512 с. — (Большая проза. Василий Аксёнов).**

ISBN 978-5-699-97056-8

Вместе с семьей потомственных врачей Градовых читателю предстоит прожить почти тридцать лет XX века — от смерти Фрунзе до смерти Сталина. Расстрелы, пиры, генералы, лагеря, пытки в застенках НКВД, Вторая мировая, секс, религиозные искания, допросы, диверсии, заговоры, адюльтеры, салоны, парки — все есть в этой удивительной книге!

Никита Градов и Вадим Войнович — истинные русские офицеры, несломляемые, гордые, смелые, порядочные. Их трагедия в том, что, сражаясь за советскую власть, они в итоге пали ее жертвами...

«Война и тюрьма» — второй том трилогии.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Аксёнов В., наследники, текст, 2017
ISBN 978-5-699-97056-8 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. ВЫ СЛЫШИТЕ, ГРОХОЧУТ САПОГИ	12
Глава 2. НОЧНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ	29
Глава 3. ПОДЗЕМНЫЙ БИВУАК	58
<i>Антракт I. Пресса</i>	<i>69</i>
<i>Антракт II. Комнатная магнолия</i>	<i>73</i>
Глава 4. СУХОЙ ПАЕК	76
Глава 5. ЛЯ БЕМОЛЬ	104
Глава 6. БЕДНЫЕ МАЛЬЧИКИ	126
Глава 7. ОСОБАЯ УДАРНАЯ	148
<i>Антракт III. Пресса</i>	<i>172</i>
<i>Антракт IV. Голубка-Россет</i>	<i>176</i>
Глава 8. ПРОФЕССОР И СТУДЕНТ	180
Глава 9. ТУЧИ В ГОЛУБОМ	192
Глава 10. КРЕМЛЕВСКИЙ ГОСТЬ	209
Глава 11. КРЕМЛЕВСКИЙ ХОЗЯИН	233
<i>Антракт V. Пресса</i>	<i>244</i>
<i>Антракт VI. Конь с плюмажем</i>	<i>249</i>
Глава 12. ЛЕТО, МОЛОДЕЖЬ	252
Глава 13. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	281
Глава 14. ВАЛЬСИРУЕМ В КРЕМЛЕ	306
Глава 15. ОФИЦЕРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ	335

<i>Антракт VII. Пресса</i>	356
<i>Антракт VIII. Бал светляков</i>	359
Глава 16. КОНЦЕРТ ФРОНТУ	361
Глава 17. VIRTUTI MILITARI	396
Глава 18. СЛОВЕСНЫЙ СОБЛАЗН	445
Глава 19. ОЗОНовый СЛОЙ	474
Глава 20. «ПУТЬ ОКТЯБРЯ»	489
<i>Антракт IX. Пресса</i>	507
<i>Антракт X. Лейб-гвардии гуси</i>	509

Для человеческого ума непонятна
абсолютная непрерывность движения.

Лев Толстой. «Война и мир»

Предваряя повествование эпиграфом, писатель иной раз через пару страниц полностью о нем забывает. В таких случаях цитата, подвешенная над входом в роман, перестает бросать свет внутрь, а остается лишь в роли латунной бляшки, некоего жетона, удостоверяющего писательскую интеллигентность, принадлежность к клубу мыслителей. Потом в конце концов и эта роль утрачивается, и, если читатель по завершении книги удосужится заглянуть в начало, эпиграф может предстать перед ним смехотворным довеском вроде фигурки ягуара, приваренной к дряхлому «Москвичу». Высказывая эти соображения, мы понимаем, что и сами себя ставим под удар критика из враждебной литературной группы. Подцепит такой злопыхатель наш шикарный толстовский эпиграф и тут же ослабит — вот это, мол, как раз и есть «ягуар» на заезженной колымаге! Предвидя такой эпизод в литературной борьбе, мы должны сразу же его опровергнуть, с ходу и без ложной скромности заявив, что у нас, в нашей многолетней беллетристической практике, всегда были основания гордиться гармонической связью между нашими эпиграфами и последующим текстом.

Во-первых, мы эпитафиями никогда не злоупотребляем, а во-вторых, никогда не использовали их для орнамента, и если уж когда-нибудь прибегали к смутным народным мудростям вроде «В Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят», то с единственной лишь целью дальнейшего усиления художественной смуты. Вот так и тот наш, там, позади, только что оставленный эпитафия, вот эта-то, ну, чеканки самого Льва Николаевича идея о непостижимости «абсолютной непрерывности движения» взята нами не только для приобщения к стаду «великих медведиц» (как бы тут все-таки не слукавить), но и, главным образом, для того, чтобы начать наш путь через Вторую мировую войну. Эпитафия этот для нас будет чем-то сродни яснополянской кафельной печке, от которой и намерены танцевать, развивая, а порой и дерзновенно опровергая, большую тупиковую мысль национального гения. Отправимся же далее по направлению к войне, в которой среди большого числа страждущих миллионов обнаружим и лица наших любимых членов семьи профессора Градова. Вклад их в громоподобный развал времен не так уж мал, если держаться точки зрения Л.Н. Толстого, сказавшего, что «сумма людских произволов сделала и революцию, и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила».

Следовательно, и старый врач Б.Н. Градов, и его жена Мэри, столь любившая Шопена и Брамса, и их домработница Агаша, и даже участковый уполномоченный Слабопетуховский в гигантском пандемониуме человеческих произволов влияли на ход истории не хуже де Голя, Черчилля, Рузвельта, Гитлера, Сталина, императо-

ра Хирохито и Муссолини. Перечитывая недавно «Войну и мир» — впервые, должен признаться, с детских лет и вовсе не в связи с началом «Войны и тюрьмы», а для чистого читательского удовольствия, — мы столкнулись с рядом толстовских рассуждений о загадках истории, которые порой радостно умиляют нас сходством с нашими собственными, но порой и ставят нас в тупик.

Отрицая роль великих людей в исторических поворотах, Лев Николаевич приводит несколько примеров из практической жизни. Вот, говорит он, когда стрелка часов приближается к десяти, в соседней церкви начинается благовест, но из этого, однако, не значит, «что положение стрелки есть причина движения колоколов». Как же это не значит, удивится современный, воспитанный на анекдотах ум. Ведь не наоборот же? Ведь не колокола же двигают стрелки. Ведь звонарь-то тоже взялся за веревки, предварительно посмотрев на часы. Толстой, однако, приводя этот пример, имел в виду что-то другое.

Глядя на движущийся паровоз, слыша свист и видя движение колес, Толстой отрицает за собой право заключить, «что свист и движение колес суть причины движения паровоза». Свист, разумеется, не входит в число причин, но вот насчет колес позвольте усомниться — именно ведь они, катясь вперед или назад, вызывают движение всей нагроможденной на них штуки. Тут снова нам не остается ничего иного, как предположить, что Толстой что-то другое имел в виду для иллюстрации исторических процессов.

Последний пример, приведенный в третьей части третьего тома «Войны и мира», совсем все запутывает,

если только не катить бочку на издательство «Правда», выпустившее в 1984 году собрание сочинений в двенадцати томах. Крестьяне считают, пишет Толстой, что поздней весной дует холодный ветер из-за того, что раскрывается почка дуба. Цитируем с экивоком к нашему блестящему эпиграфу: «...хотя причина дующего при разворачивании дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть разворачиванье дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияния почки».

Тут как-то напрашивается предположить обратное развитие событий, то есть раскрытие почки под влиянием холодного ветра, однако Толстой этого не касается, и мы предполагаем, что он совсем не то имеет в виду, что на поверхности, что мысль его и его сильнейшее религиозное чувство полностью отмежевываются от позитивистских теорий XIX столетия и уходят в метафизические сферы. То есть мысль его вдруг распахивает дверь в бездонные пустоты, в не названность и неузнанность, где предстают перед нами ошеломляющие все эти «вещи в себе».

Увы, несколькими строками ниже граф вдруг возобновляет связь со своим веком «великих научных открытий», чтобы заявить: «...я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны».

В общем, в результате этих отвлеченных и нерешенных (как он считает — пока!) задач Толстой приходит к мысли, что «для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюде-

ния, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами».

Почти марксизм. Ленин, очевидно, и эту жажду познаний имел в виду, присуждая графу новый титул «зеркала русской революции». Вождь, впрочем, должен был бы знать, что с Толстым всегда не все так просто, что он не только отражением «суммы людских произволов» занимался, но и свой немалый «произвол» добавлял в эту сумму: а прежде всего полагал, что движение этих бесконечных сослагательных направляется Сверху, то есть не теориями задвинутых экономистов или антропологов, а Провидением.

Но вот бывает же все-таки, что некоторые теоретики и практики выделяют из «суммы произволов» и посылают миллионы на смерть и миллиарды в рабство, стало быть, произвол произволу рознь и нам при всем желании трудно прилепиться к роевой картине, какой бы впечатляющей она ни была, и отвергнуть роль личности в истории.

Все эти размышления на толстовские темы, как бы являющиеся полным подтверждением нашего эпиграфа, понадобились нам для того, чтобы подойти к началу сороковых годов и глянуть сквозь магический кристалл в очередную даль все того же, единственного мирового «свободного романа», одной из частей коего мы хотели бы видеть и наше повествование, и там обозреть феерию «человеческих произволов», известную в истории под названием Вторая мировая война.

Глава 1

Вы слышите, грохочут сапоги

Колонна новобранцев, несколько сот московских юнцов, вразнобой двигалась по ночной Метростроевской улице (бывшей Остоженке) в сторону Хамовнических казарм. Несмотря на приказ «в строю не курить», то тут, то там в темной массе людей занимались крошечные зарева, освещая губы, кончики носов и ладони. Вчерашним школярам не впервой было дымить втихаря, в кулак. Они и шли-то из школы, что в Сивцевом Вражке, где был сборный пункт, то есть из привычной обстановки. Шуршали штатские штиблеты, мелькали и шикарные белые туфли, еще вчера натирившиеся зубным порошком «Прибой», бесшумно пролетали матерчатые тапочки.

Куда направляется марш, не было сказано, однако все уже знали: в Хамовнические казармы на санобработку, медосмотр и распределение. Москва была пустынна, затемнена, фонари не горели, окна были закрыты плотными шторами обязательной светомаскировки, но небо светилось, в нем стояла полная

луна, хотя не она была главным источником света, а прожекторы, пересекавшие лучами священный свод в разных направлениях, то скрещиваясь, то образуя гигантские лейтенантские шевроны. Под эти лучи попадали только колбасы аэростатов воздушного заграждения, но все знали, что в любой момент может высветиться и что-нибудь другое. В городе ходили глухие слухи, что над столицей уже не раз кружили немецкие разведчики.

В глубине строя, среди одноклассников, шагала девятнадцатилетняя Митя Градов (Сапунов). Он стал за эти годы довольно рослым парнем, с широкими плечами, развитым торсом, чуть длинноватыми руками и чуть коротковатыми ногами, хорошим чубом, скуластым и челюстным лицом, сильными и непонятно светящимися глазами; в общем, славный юноша. Как раз за три дня до начала войны он окончил среднюю школу, готовился поступать в медицинский (естественно, по совету и по протекции деда Бориса), но все повернулось иначе: не прошло и полутора месяцев, как был призван.

Кто-то в строю уже завел: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война!» Песня эта совсем недавно стала вылетать из репродукторов и сразу же вошла в обиход. Что-то в ней было мощно-затягивающее, не оставляющее сомнений. Даже и Мите, который всегда чувствовал себя чужаком в советском обществе, казалось, что тяжелый маршевый ритм и кошмарные слова («Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, отребью человечества сколотим крепкий гроб...») за-

полняют и его какой-то могучей, хоть и не очень отчетливо адресованной яростью. Впрочем, сейчас, в этом строю, в ночи, во время первого своего марша к войне, не песня его беспокоила, а присутствие Цецилии Розенблюм. Колонна сопровождалась кучкой мамаш, и в ней семенила Цецилия. Кто ее звал сюда и кому нужны эти телячьи нежности? Мамаша в ней, видите ли, проснулась! Экая бестактность, крутилась в голове у Мити чужая, разумеется, из лексикона дедда Бориса фраза. Экая бестактность! За все эти годы приемный сын ни разу не назвал Цецилию Розенблюм матерью. Ее отца Наума Матвеевича он охотно звал «дед», да, впрочем, не только звал, но и считал своим, почти естественным, почти таким же, как дед Борис, дедушкой. Отца приемного, Кирилла Борисовича, давно уже пропавшего в колымских тундрах, помнил все-таки отцом, может быть, даже больше, чем отцом, потому что не стерлась еще в нем память о настоящем отце Федоре Сапунове, жестоком и диком мужике. Он часто и в какие-то самые сокровенные моменты вспоминал, как однажды, за год до ареста, Кирилл присел у его кровати и, думая, что он спит, глядел на него с доброй любовью. Притворяясь спящим, сквозь ресницы, как сквозь сосновые кисти, он смотрел на Кирилла и думал: какое лицо у моего отца, какие глаза человеческие! И сейчас он всегда в своих мыслях называл его отцом: как там отец, жив ли, не убили ли изверги отца моего? Он не очень-то помнил, называл ли его когда-нибудь отцом вслух, или так до конца и держалось изначальное «дядя Кирилл», однако убеждал себя, что называл, и не раз,

и в конце концов убедил, что называл своего спасителя от казахстанской высылки, в которой вымерло три четверти односельчан, не дядей, но отцом. А вот жену отца, и ведь тоже спасительницу, Цецилию Наумовну даже в самых отдаленных мыслях Митя не мог назвать матерью. Вот ведь вроде и тетка незлая, даже временами чрезвычайно добрая, а в матери не годится. Никак не могла бестолковая, рассеянная, всегда донельзя нелепо одетая и не всегда идеально чистая (он иногда замечал, что она по утрам в беспрерывном бормотании, чертыхании, поисках книг и папирос забывает умываться), да, не вполне благовонная ученая марксистка не могла вытеснить из Митиной памяти гореловскую тощую мамку с ее зуботычинами, постоянным хватанием за уши, этим единственным педагогическим методом, что был в ее распоряжении. Обидные и болезненные щипки не очень-то и запомнились Мите, запомнилось другое: иной раз схватит мамка за ухо, чтобы наказать, больно сделать, а вместо этого вдруг прикроет ухо всей ладонью и приголубит, словно маленькую птицу. Вот это от нее и осталось, от сгоревшей мамки.

Повестка пришла, естественно, не в Серебряный Бор, где Митя жил почти постоянно, а на квартиру Цецилии, по месту прописки. Поэтому и в сборном пункте он оказался не на окраине, а в центре, на Бульварном кольце. В этой школе их держали чуть ли не сутки, туда и полевая кухня приходила из Хамовнических казарм, и всякий раз, как он выглядывал из окна, за железной решеткой забора видел среди